

1130-31.10.04
(онг.)

Месхи Набала



Натэла МЕСХИ:

«Я верю — не кончится»

О детстве

Так когда же кончилось детство? Что? Ах, не кончилось? Неужели? Да только что сама слышала: "Ну, ничего, это пройдет тоже". Пройдет? Думаете? Предполагаете? Хотите? Не стоит об этом думать. Не дай Бог, чтобы оно кончилось! Да пусть взгляд будет таким, как тогда, как сейчас, как в том, что называется детство! Я, я вся целиком, за то самое удивление, которое вызывает вопросы. За то самое удивление, которое неразлучимо с детством. За удивление объемное, разноцветное, сложное, видимое тобой, открытое другими, благодаря тебе. Я за познание яркое, чуткое, важное для тебя. И пусть для других. Я за крошечные, маленькие, большие и, конечно же, гигантские находки. Пусть все будет, как тогда, как сейчас, как в том, что называется детство. Пусть все будет так остро, так наболевше, так невозможно. Пусть невозможно будет не написать, так же, как невозможно не увидеть. Если не напишешь, значит, не увидела, значит, кончилось. Что? Тогда ты этого не поймешь. Я верю — не кончится.

А жизнь... Она делает свое, думаю, далеко не черное дело. Она отбросит, откинет, прибавит, дополнит. Сюжеты, подходы изменятся, усложнятся или упростятся. В общем, опять... и все такое. Но суть-то останется та же. Но видение останется. Удивление — великая способность, богатейший двигатель. Хорошо бы так было! Правда, а?

Звонок. Еще. Снова. Кому-то бьют по слуху пустота и гудки. Как удары останавливающегося сердца. Ничего, еще немного. Нет меня, понимаете, нет!

(Из дневника, 1984)

О фантомах

Фантом — материя, данная в ощущении, рискует иногда показаться. Но ощущение все же первично. Что больше всего сближает Аксенова с Бальмонтом, и меня с ними, с Крымом — так это портвейн Таврический. Чуть менее прозрачный, чем привидение, но не менее Таврический, чем сам граф Потемкин. Таврический портвейн в Крыму — точка опоры непересекаемых эпох. Немного солнца в ледяной воде. Немного муската в этом солнце. Немного перегрева под этим солнцем и в этой воде. Внук Бальмонта как иллюзия близости с чужими временами — и вот вам портвейн Таврический. У каждой капли, как и у каждой минуты крымского времени — вес золота. Все немного не в фокусе и в дымке, оттого, что не сняты солнечные очки; небо, становящееся все серей; дождь, терпеливо не дождавший, пока опомнимся и разойдемся по домам; яд таврического напитка. Яд, грозящий будущему и заставляющий разводить руками перед прошлым. Яд быстродействующий, но не сиюминутный; а потому — одна секунда на ощущение: а вот и мне счастья. Заготовка сырья для будущего крымского фантома? Но это уже размышление для следующего мига, а его уже коснулся яд.

(«Летняя игра словами», 1994)

Об ожидании

"Телефонная сюита" идет в пространстве, начисто лишенном хотя бы одного сценографического элемента. Героиня — черноволосая девушка в малиновой длинной тунике с большой телефонной трубкой в руках. И семь ее отражений, тоже с трубками. Не сотовыми, самыми обычными, желтыми, зелеными, коричневыми. Персонажи одеты в тончайшие балахоны — если бы не затемнение на сцене, они казались бы совершенно голыми. Помимо чисто эстетического расчета, балетмейстер Даниэль Лорье, вероятно, вложил в это совершенно прозрачный смысл: наши мечты и надежды, наши грезы и желания абсолютно обнажены.

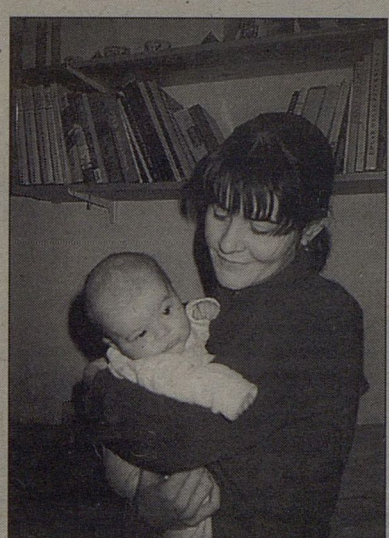
Собственно говоря, лишь отсмотрев три четверти "Телефонной сюиты",

В конце мая мы простились с Натэлой Месхи. Пять месяцев прошло, но невозможно смириться с тем, что ее нет. Настолько это не вяжется с ее темпераментом, жизнелюбием, мажором облика и поступков. Когда-то она была самой юной в нашей новорожденной редакции, но за плечами у нее уже было несколько лет работы в "Советской культуре". Первая запись в трудовой книжке — телеграфистка, она начинала в телетайпной, обрывая бесконечную ленту новостей и разнося их по кабинетам дежурной группы. Потом сама стала писать короткие заметки. В "Экране и сцене", назначенная заведующей иностранным отделом, исполняла тьму других обязанностей: ретушировала, если надо, фотографии, делала коллажи на бывшем тогда в новинку ксероксе, таскала в своих тоненьких ручках тяжеленные пачки-упаковки со свежими газетами, была даже главным бухгалтером, когда срочно понадобилось оформить юридическую самостоятельность издания, а бухгалтера было взять неоткуда. Она писала феерически быстро, компьютерами еще не обзавелись, а ее машинка выдавала такую частую дробь, что, казалось, работает целое мажбюро. Для нее не было невозможного: попасть туда, куда никого не пускают, взять интервью у того, до кого никак не дозвониться. Она была хороша собой, победительно смелой и легкой, как перышко. И перышко ее в метафорическом смысле тоже было легко и изящно, как она сама. Вообще ее мышление было метафорическим, она любила находить сопряжения предметов и смыслов, извлекать из слова музыкальную кантилену. Сама про себя она говорила, что родилась не в то время. Душой и сердцем она была в Серебряном веке, поэзия и мироощущение той эпохи пронзили ее навсегда и задали тон ее собственной гармонии. Она с безупречной свободой говорила по-французски, но не любила переводить чужие тексты, ей это было неинтересно, за исключением, может быть, трилогии Кесельевского, которая прошла много раз в ее переводе на ТВ. И про Париж тоже искренне говорила, что это не ее город. Она несколько месяцев, оставив на время "Экран и сцену", стажировалась в "Катие дю синема" и "Пуане", получила диплом Сорбонны, обрела массу замечательных знакомств, но рвалась обратно. Она любила свою страну, ее историю и культуру. И просто любила как женщина. До полного самоотречения. Она любила жанр интервью. Задавала такие вопросы, что собеседники, ведомые ее интересом, в ответ тоже не позволяли себе банальностей. Наши подшивки хранят ее замечательные беседы с Денев, Депардье, Годаром, Безаром, Каванни, Вишневской, Ростроповичем, Сухановым и многими другими деятелями культуры. Жизнь оказалась коротка, как вздох. Сороковины случились, а вот сорокалетие нет. Именно в этот день, 14 октября, когда в типографии будет отпечатан очередной номер "ЭС", Натэле исполнилось бы сорок. Всего-то миг был отпущен ей судьбой, столько еще могла свершить и была готова к этому, по-новому ощущая себя на жизненном поприще. А что можем мы в этот день послать ей в подарок? Только свою любовь и еще горько саднящую память. Мы хотим вернуть хоть капельку этой жизни, предлагая вниманию читателей фрагменты из текстов Натэлы Месхи, опубликованных в разное время. Время уходит, сказанное остается. Может, и вам будет дано ощутить ее живой, какой ощущаем ее мы.

У Натэлы осталась маленькая дочка. Ей вчера исполнилось пять. Когда мама умирала от неотвратимой болезни и осталось совсем немного дней, Сашеньку отвезли на дачу к подруге, и девочка однажды вечером, глядя на громадную круглую луну, просвечивающую сквозь кроны сосен, начала расспрашивать про небо, луну, космос. Она только что пришла с прогулки в лес и узнала много интересного. А когда получила первые астрономические знания в маситабе детского ликбеза, то вдруг сказала: "Значит, небо — опушка космоса?"

Наутро об этом рассказали маме. И она светло улыбнулась. Наверное, это была самая последняя метафора в ее жизни.

Друзья и коллеги



вдруг понимаешь, что никто не оговорил сюжета. И вероятно, мы даже не задумываемся о том, что видим. И скорее всего, девушка просто разговаривает по телефону. С неким, чье имя балетмейстер предпочел оставить за кулисами фантазии. Окружающие девушку ее отражения и впрямь грезы возбужденного ночной тишиной ума. Ночь — лукавое время для тех, кто хочет лукавства. Оно любит дурные шутки, полагаясь на службу серебристого серпа луны, гонящего прочь трезвую мысль о том, что под ней ничто не вечно, — истина, от которой хочется спать, натянув на голову одеяло, заглушающее тихую трель телефонного аппарата после полуночи.

О чем ведет она свой странный разговор посреди ночного часа? И по чьей прихоти дает волю все более и более расходящимся фантомам-отражениям? Сами отражения водят хороводы, распадаясь затем на пары, исполняют соло, превращаются в зеркальное подобие героини.

Любовь — жесточайшее из созданий природы — она выбрала ночь для сомнительных забав, она пожелала, чтобы вы встречали утро с синими кругами под глазами и с лихорадочно блестящими зрачками. Когда раскаленная добела трубка бесильно падает на пол. На другом же конце провода нет ничего — он оборван. И кружащееся прикосновение шнура — эрзац его прикосновений. Ночь вероломнее рассвета, который более жесток, чем предшественница. Они сменяют друг друга, чтобы обозначить четкие контуры бессонницы под глазами и остудить лихорадочный блеск темных зрачков.

Любовь ни с кем — не больше, чем игра воображения. И не меньше, чем эта игра.

(«Час вероломства, лукавства и игры», 2000)

О вечности

Вероятно, только большая сцена Гран-опера пригодна для постановки этого одноактного действия. Декорации условны, как вообще условен разговор о вечности. На дальнем плане — обрисованные светом контуры трех великих пирамид — трех хитов доантичной эры. Над ними трюк цивилизации — огромный киноэкран — гигантское окно из музея в мир. С документальными картинками нынешнего Египта, громогласного, жаркого, патриархального. Сигналищего автомобильными клаксонами в пробках на площади, в центре которой — бронзовый гигантский Рамзес II. Сама же сцена разделена на подиумы: там в стеклянных саркофагах — неподвижные танцоры-статуи. Тот из публики, кто позорче и пограмотнее, опознает в них царевича Рахотепа и его супругу, Тутанхмона, влюбленного в тонкостанную Анхесен-Амон — дочь царицы Нефертити и солцеликого Эхнатона-Аменхотепа (мужчины моей детской мечты). Везде бумажные белые лотосы.

Воспитанный европейский зритель, пришедший на премьеру в Пале Гарнье, где двадцатилетний Томас Вилье дебютирует тремя одноактными хореографическими пьесами, настроен мистически и уважительно: чужая культура, пусть даже поддавшая сценической обработке, выглядит привлекательно. Засохший цветок древнего Египта распускается для европейского зрителя, будучи даже бумажным. (...).

С прошлым, впрочем, следует обращаться осторожно. Любопытным оно мстит безжалостно: всем известно, как по странному стечению обстоятельств, погибали вошедшие в гробницу юного Тутанхамона. Древняя цивилизация отодвинулась от нас, пресекая любую попытку вторгнуться в ее замкнутость. Тем не менее, не отбрасывая полностью суеверного страха, молодые танцоры умело притворяются прошлым, уложившись в шестьдесят серебряных минут. А больше, наверное, и не стоило. Все принадлежащее нам больше, чем на миг, становится обыденным, а так юный влюбленный Тутанхамон, умерший в восемнадцать лет, не успел приобрести привычку смотреть на свою стареющую жену.

Вечности обыденность противопоставлена. Вечность снится по ночам и как сон забывается под утро. В этом ее идеальность.

(«Сон в египетскую ночь», 2000)

299